

Reflected words can only shiver  
 Like elongated lights that twist  
 In the black mirror of a river  
 Between the city and the mist.  
 Elusive Pushkin! Persevering,  
 I still pick up Tatiana's earring,  
 Still travel with your sullen rake.  
 I find another man's mistake,  
 I analyze alliterations  
 That grace your feasts and haunt the great  
 Fourth stanza of your Canto Eight.  
 This is my task — a poet's patience  
 And scholiastic passion blent:  
 Dove-droppings on your monument.

January 8, 1955

## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА, или Видение о любви и ревности

Утверждают, что Набоков и в своих англоязычных вещах был Набоковым, то есть виртуозом слова. Что ж, был так был. Пусть рукоплещут американцы. Но эти два его английских стихотворения зацепили меня заголовками: о русской ведь литературе! И когда я их одолел, шевеля губами, бровями и словарями, то испытал острый позыв (извините за термин) поделиться с другими своим ошеломлением.

И вот делюсь. (Заодно, признаться, и надвое делюсь — между его русским стихом и английским.)

Увы — «отраженные слова умеют лишь дрожать...» Даже виртуоз Набоков не рискнул переводить «Онегина» на английский стихами, перевел «честной прозой», да еще наворотил целых два тома дотошных комментариев, без усталости вдалбливая англоязычным недотепам: се лев, а не собака, джентльмены! Вдолбил ли?

Но все-таки он отвел душу. Чистой, без трещинки, онегинской строфой (четырёхстопный ямб, четырнадцать строк, точно соблюденная система рифмовки) он написал по-английски стихи «На перевод Евгения Онегина». Вот в них-то онегинская строфа явилась живая. И дело не в формальном подобии. Само ее сердцебие, ее летящая походка, ее порывистая искренность, так чудно вбегающая в иронию, такие особенные, завораживающие пируэты пушкинской мысли и речи — все сверкнуло на мгновение в коротком английском тексте.

В переводе этого не увидишь, так что прошу поверить на слово.

Хотя, опять же, не знаю, как там поверили на слово заезшему лектору любознательные американочки («Вечер русской поэзии»). Он, чудак, бормотал им о «наших колоссальных гласных», о «черных прудах звуков», о Пушкине, зевающем в повозке. Он мычал о своей незаживающей любви — а что смогли расслышать они? «Отраженные слова умеют лишь дрожать...»

Отраженные слова умеют лишь дрожать,  
 Как удлиненные огни, что ломаются  
 В черном зеркале реки  
 Между городом и туманом.  
 Неуловимый Пушкин! Упорствуя,  
 Я все же подбираю сережку Татьяны,  
 Я все же странствую с вашим мрачным повесой,  
 Я познаю чужую ошибку  
 И анализирую аллитерации,  
 Что украшают ваши пиры и населяют великую  
 Четвертую строфу вашей Восьмой Главы.  
 Таков мой труд — терпение поэта  
 И пыл буквоеда-комментатора. Эта смесь —  
 Голубиный помет на ваш памятник.

\* \* \*

Ошеломление... Но, когда вглядываюсь в эти колдовские строки чужого языка, во мне шевелится и другое чувство — болезненное, унижительное. Я не сразу понимаю, что это — ревность... Во мне, русском читателе, по-бабьи бесится уязвленная Русская Речь. Или Русская Словесность? Русская Муза? Да все равно, это одно и то же. Одна и та же дама. На ее красивом лице — пятна злого румянца, в серых славянских глазах — желтый тигриный огонь.

— Как он мог! — визжит она. — Как посмел изменить мне! И с кем? С этой тощей инглишатиной!

— Какая измена? — урезониваю я. — Стихи, конечно, на ее языке — но ведь о тебе. И как талантливы...

— Именно! И со мной талантлив, и с ней! Нечего сказать — ушлый потаскун.

— Зачем ты так? Разве он хоть на миг...

— А уж какой пылкий он бывал со мной! Лицемер! Какие... — Слезы вдруг брызжут из ее глаз, она шлепается на стул, жалко воет. — Какие у нас получались стихи-и-и... какая п-проза... Ты-то хоть помнишь, полиглот несчастный?

— Еще бы. Только не реви... Вот, пожалуйста. И опять о тебе:

Отвяжись, я тебя умоляю,

Вечер страшен, гул жизни затих.

Я беспомощен. Я умираю

От слепых наплываний твоих...

Она всхлипывает, лезет в сумочку за платком.

— Это не обо мне. Это «К России».

— Он не видел разницы. Но если тебе мало, то вот еще:



А я молюсь о нашем дивьем диве —  
О русской речи, плавной, как по ниве  
Движенье ветра... Воскреси!

Слезы погасили тигриный огонь. Комочком платка она тычет вокруг глаз, шмыгает покрасневшим носом. Перебирает листки с моим подстрочником, потом глядит в английский текст. О, как она глядит! Слезы не то что высыхают — вымерзают от оценивающего холода этого взгляда... Вдруг, завистливо вздохнув, говорит:

— Да... Она изящнее меня. Стройнее, гибче.

(Ну, поворотики...)

— С чего ты взяла?

— Какие у нее слова... поджарые. Насколько короче моих! Ты тут переводишь: «Я слышу ржанье моих пегих существительных». Это же просто стыдоба — «суще-стви-тель-ных». Длинно до омерзения. То ли дело у нее — «наунз». Будто короткий взмах гривой.

— Может быть. Зато возьми русское «ржанье» — какое лошадиное буйство звуков! Разве сравнишь с этим квелым английским «нэйинг»?

— Короче у нее слова, короче! — она страдальчески морщится. — Их больше влезает в строку. И смысловых оттенков у нее больше, больше напихано!

Покусывая губы, глядит в перевод. Глядится.

— Ты тоже хорош. Уж мог бы кое-где и поубористей перевести. Это же пятистопный ямб — а ты разбабахал строчки по километру.

— Например? — обижаюсь я.

— Да вот хотя бы: «Среднее слово, необычайно длинное, *извивается, как змея*». У нее же тут... у него то есть, — с горькой усмешкой поправляет она себя, — сказано коротко: «серпентайн» — *змеистое*. А ты аж три слова вбухал. Нарочно меня позоришь перед ней?

— Ну уж позвооль! — я вскипаю от возмущения. — «Змеистое», может, и короче, зато ты взглядишь, дуреха, в свой собственный глагол «извивается». Как он пружинист, подвижен, вкрадчив! В нем виден даже мягкий блеск змеиной кожи. Не глагол, а целое кино. Вспомни, как он любил в тебе такие слова, туго закрученные, распираемые скрытыми токами. Он даже и тут парочку вставил живьем, без перевода — вот они, курсивом: «...неуклюже, невыносимо...»

Я вижу на ее лице невольную смущенную улыбку и, обрадованный, спешу закрепить на отвоеванном плацдарме.

— И потом, я старался передать не размер, а смысл. Это же всего лишь подстрочник.

— Подсрачник! — фыркает она.

Я не обижаюсь.

— Ишь, какие ты словечки выдаешь походя! Уж не прибеднялась бы насчет смысловых оттенков.

— Да пошел ты!.. — она улыбается, встряхивает пышными волосами. Воодушевленный, я встаю со стула.

— Ты вспомни, как он говорил: все земное, ядреное, мужицкое, все связанное с жизнью природы, а также с чувствами, ощущениями, по-русски выходит лучше, чем по-английски.

Она не просто слушает — она пьет эти слова. Пристально и странно глядит на меня. Я делаю к ней шаг, шепчу:

— Ну и что, что слов у нее в строке много? Костей

много! Уж точно — англиштина... А у тебя вон сколько всего...

— Но, но — без рук! — сухо роняет она.

— Прошу прощения! — опомнившись, я неловко крякаю, усаживаюсь на место.

Мы молчим. Она достает из сумочки косметику, зеркальце. Подкрашивается, медленно расчесывает волосы. Меня будто нет.

Но я тут. И шило у меня — ясно где. Я нарушаю молчание:

— Вы с ней просто разные. Ты насмешлива, она остроумна... Ты добра, она тактична — и я, убей, не знаю, что ценнее... Ты задушевна, она рассудительна. Ее сэндвичи примитивны по сравнению с твоим борщом, но зато она едет на пикник. Ты берешь надрывом, а она напором. Ты веришь в сглаз, а она в хэппи-энд. Ты вопленница — даже когда рядом нет покойника, она миссионерша — даже когда вокруг одни крокодилы... Хотя вот тут-то вы обе теряете чувство меры и бываете надоедливы. Но он знал, где ставить точку.

— Да уж знал. Остановился на сэндвичах.

— Не кривляйся. Он много твоего перенес в нее.

— Да-а? — она округляет губы перед зеркальцем, проверяя, как наложена помада. — И что именно?

Тон мне не нравится — и я не спешу с ответом. Я тоже знаю, черт возьми, где ставить точку. Для паузы. Она ждет, потом ерзает и, наконец, поворачивается ко мне:

— Ну так что из моего он в нее перенес?

Ага — уже не пренебрежение! Острое любопытство. Мольба. Теперь услышит.

Я вдруг понимаю, что волнуюсь. Голос мой дрожит:

— Твое умение чувствовать боль. И твое неумение врать.

Ну вот... Сказал.

Она смотрит на меня — а потом как бы сквозь меня. Так смотрят, когда ждали услышать нечто, а услышали лепет зубрилки, бородатый анекдот. Но почему?..

Вздохнув, она застегивает сумочку, поднимается.

— Ладно, аналитик. Мне пора.

Идет к двери. В отчаянии я бросаю ей вслед:

— А я бы никогда тебе не изменил!

Она оборачивается, насмешливо поднимает брови:

— Бодливой корове Бог рог не дает!

Я смотрю в пол. Стерва...

— Не обижайся, — слышу тихий голос. Поднимаю голову. Ее улыбка печальна.

— Заглянешь как-нибудь? — спрашиваю с шевельнувшейся надеждой.

Она пожимает плечом. Распахивает дверь — и нет ее. Порыв сквозняка сметает со стола на пол мои бумажные листки...

Крадутся сумерки. Как там сказано у него где-то: «Сумерки» — какой томный, сиреневый звук! Томный, сиреневый... Эх, звуки, сколько в вас всего соседствует... «Томно мне!» — стонет в синеве веков негнувшийся протопоп. А из другого угла: «Сиреневый туман... над нами пра-плыва-ит...» Но — стоп машина. Надо собрать листки.

И я собираю с полу машинописные листки, на которых отстукано нечто до горечи бестолковое по самой своей сути, и жалкое, как промах, и неотвязное, как наваждение, — перевод стихов русского поэта на русский язык.